

Илья Калинин, Клавдия Смола

Империя постколониальных ситуаций:

ЛОГИКИ (ХОЛОДНОЙ) ВОЙНЫ

Ilya Kalinin, Klavdia Smola

The Empire of the Postcolonial Situations: The Logic of the (Cold) War

Илья Калинин (приглашенный исследователь, Принстонский университет, Принстон, США; кандидат филологических наук) ik1939@princeton.edu

Клавдия Смола (Институт славистики, Университет Дрездена; профессор, доктор наук) klavdia.smola@tu-dresden.de

Ключевые слова: постколониальные исследования, историческая политика, политика памяти, региональные исследования, идентичность, империя, нация

УДК: 009+325.3+327.2

DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_251

Противоречивая политическая природа СССР, не без труда втискивающаяся в нормативные рамки описания классических империй, называется и на судьбе развивающихся на постсоветском пространстве постколониальных исследований (и шире — региональных исследований, которые пытаются утвердить собственную локальную позицию, балансируя между использованием авторитетной теоретической оптики, заимствованной у западной академии, и неотрефлексируемым «влипанием» в материал, некритическим воспроизводством языка изучаемой традиции). В результате во все более тугой узел стягиваются принципиально отличающиеся друг от друга политические установки и эпистемологические основания: критика гегемонии и утверждение морального авторитета, методологический конструктивизм и традиционалистский примордиализм, чуткость к подвижной игре различий и логика бинарных оппозиций. В свою очередь, на все это накладывается историческая и культурная политика Российского государства, стремящаяся усилить перечисленные выше сдвиги и смещения для достижения постимперского патриотического консенсуса. Данная статья является попыткой хотя бы отчасти обозначить траектории и механизмы данных диффузий и подмен, вписав их в актуальный трагический контекст, имеющий среди прочего и постколониальное/постимперское измерение.

Ilya Kalinin (PhD; Visiting Research Scholar, Princeton University, Princeton, USA) ik1939@princeton.edu

Klavdia Smola (PhD, Dr. habil.; Professor, Chair of Slavic Literatures, Dresden University) klavdia.smola@tu-dresden.de

Key words: post-colonial studies, historical politics, politics of memory, regional studies, identity, empire, nation

UDC: 009+325.3+327.2

DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_251

The contradictory political nature of the USSR, which has been squeezed into the normative framework of the description of classical empires with some difficulty, has also affected the fortunes of postcolonial research developing in the post-Soviet space (and more broadly regional studies that are trying to establish their own local position, balancing between the use of authoritative theoretical optics borrowed from the “Western academy,” and the “adherence” to material that has not been reflected upon, and the uncritical reproduction of the language of the studied tradition). As a result, political attitudes and epistemological foundations that are fundamentally different from one another are pulled into an increasingly tighter knot: the criticism of hegemony and the affirmation of moral authority, methodological constructivism and traditional primordialism, and sensitivity to the fluid game of differences and the logic of binary oppositions. Then the historical and cultural politics of the Russian state are overlaid on top of all of this, aiming to heighten the shifts and confusions listed above in order to achieve a postimperial patriotic consensus. This article is an attempt to at least partially identify the trajectory and mechanisms of these diffusions and substitutions, inscribing them in the current tragic context, which, among other things, has a postcolonial/postimperial dimension.

Политические процессы всегда влияли не только на изменение содержательной повестки социогуманитарного знания, но и на концептуальные сдвиги в его структуре. Антиколониальный подъем первой половины и середины XX века привел к возникновению новой парадигмы постколониальных исследований¹. Распад СССР и восточного блока способствовал ее академическому и публичному успеху, а также значительно расширил географию ее применения². События, непосредственно развернувшиеся между Россией, Беларусью и Украиной, но так или иначе меняющие ландшафт практически всего постсоветского пространства, безусловно отразятся как на институциональной организации мировой славистики и евразийских исследований, так и на том, какую роль в них будут играть работы, так или иначе оперирующие понятиями «империя» и «нация» и описывающие различные (пост)имперские и (пост)колониальные феномены. Не вызывает сомнений и то, что *политическое* будет не только предметом, но и внутренним мотивом этих научных работ.

От советской национальной политики к постсоветской политике памяти

Столетие, отделяющее нас от создания СССР, и тридцать лет, прошедшие с момента его распада, в очередной раз актуализировали вопрос о причинах произошедшего в 1991 году. Эти причины зачастую обнаруживают в самих основаниях большевистской национальной политики, заложившей внутреннее противоречие в фундамент СССР, который совмещал в себе формальные черты федерации национально-территориальных единиц и суть унитарного государства. Обнажение имитационной и манипулятивной природы этой подмены, позволяющей наделять внешними признаками, характерными для одного типа организации, политический и административный каркас, обладающий совершенно иной природой, служит аргументом, определяющим СССР как империю (не в оценочном, а в аналитическом нормативном смысле этого понятия)³. В пользу этого же аргумента работает и финал советской истории, дающий возможность построить, казалось бы, безупречную логическую цепочку: Советский Союз рухнул под давлением национальных движений, все современные империи рухнули под давлением национальных движений, следовательно, — Советский Союз был империей⁴.

Рост национализма и обострение национальных конфликтов на постсоветском пространстве могут быть проинтерпретированы в той же логике, отождествляющей *коммунистическое* и *имперское*, коль скоро триумфальное возвращение национализма прочитывается в терминах возвращения вытесненного. Согласно этой позиции, национальные противоречия, истоки которых обнаруживаются еще в докоммунистическом прошлом, были подавлены

-
- 1 Краткий, но содержательный обзор направлений и политических импликаций этого подъема см.: [Ушакин 2021: 399–428].
 - 2 Дебаты о применимости аналитической модели постколониальных исследований к постсоветскому пространству см.: [Adams 2008; Chernetsky et al. 2006; Moore 2001; Smola, Uffelmann 2016].
 - 3 См. например: [Barkey, von Hagen 1997; Davisha, Parrot 1997].
 - 4 Критическую реконструкцию этой логики см.: [Beissinger 1995].

коммунистическим имперским режимом, прикрываемым риторикой интернационализма и классовой солидарности, а после его падения естественным образом вышли на поверхность и лишь усилились, повторив судьбу всего, что находится под запретом и не подлежит рационализирующей артикуляции в публичной сфере.

Однако существует и другая исследовательская традиция, значительно более чувствительная к специфике сочленения *национального, имперского и коммунистического* [Bassin, Kelly 2012; Martin 2001a; Suny, Martin 2001]⁵. Не игнорируя наличие в советском проекте всех этих элементов, а также существовавшее между ними напряжение, она не сводит их конфигурацию к простой схеме, которая рассматривает коммунистическую идеологию как инструмент, взятый на вооружение Советским государством, для того чтобы проводить свою имперскую геополитику и подавлять национальные различия. Скорее наоборот. Уникальность социалистического многонационального политического проекта состоит в том, что он эти различия производил, кодифицировал и институционализировал, начиная с уровня национально-территориального размежевания и заканчивая графой о национальности в советском паспорте.

Подавляя национализм (и то поначалу лишь «великорусский»), советский режим в первые десятилетия своего существования инвестировал огромные ресурсы в нациестроительство. Он делал это не только посредством создания национальных территорий, управляемых местными элитами, но и «систематически поддерживая и способствуя развитию национальной идентичности и национального самосознания не-русского населения страны» [Martin 2001b: 74] — прежде всего благодаря целенаправленной работе по систематизации и конструированию национальных культурных традиций (письменного языка и литературной нормы, традиционного фольклора и исторических нарративов, музыки и кухни), а также институтов их воспроизводства и кодификации (музеев, театров, университетов, национальных школ и академий наук).

Характерная для раннего этапа социалистического государственного строительства асимметрия, согласно которой «узбекский большевик проявлял себя в большей степени как узбек, нежели как большевик» [Northrop 2000: 192], в то время как у русских большевиков такой возможности не было, позволила Юрию Слёзкину в его статье «Империализм как высшая стадия социализма», название которой иронично обыгрывает известную ленинскую формулу, задаться вопросом о границах применимости к Советскому Союзу имперской дескриптивной рамки, сложившейся для описания колониальных империй Нового времени:

Советский Союз был империей — в смысле очень большого, плохого, асимметричного, иерархичного, разнородного и обреченного на распад государства... Но был ли он современной колониальной империей? Находится ли он на той же куче мусора, что и голландские, французские и британские империалистические государства, состоявшие из национального ядра и заокеанских зависимых территорий? [Slezkine 2000: 227].

5 См. также две недавние работы, в которых принципиально по-разному решается вопрос соотношения имперского и (анти)колониального векторов в истории социалистического «второго мира»: [Djagalov 2020; Popescu 2020].

В этой перспективе распад СССР можно трактовать не как результат подавления национальных идентичностей, а как завершение процесса их производства («консолидации национального государства и национальности как фундаментальных познавательных и социальных форм» [Brubaker 1998: 287]), — хотя сам эффект этого завершения совершенно не вписывался в планы тех, кто этот процесс запускал и реализовывал. Так или иначе, к середине 1980-х годов национальная форма, став базовым элементом системы социальной классификации и способом организации социального мира, переросла границы, которые ей были отведены ее социалистическим содержанием (согласно сталинской формуле, описывающей специфику советской культуры: «национальная по форме, социалистическая по содержанию», 1925⁶), и в момент общего идеологического, политического и экономического кризиса оказалась включена в иной содержательный горизонт, которым стала идея суверенного национального государства. Однако, как показывают недавние события, история далека от своего конца не только в том глобальном историософском смысле, к которому обращался Фрэнсис Фукуяма в момент крушения социалистического блока. Через сто лет после образования СССР и через тридцать лет после его распада становится очевидно, что процесс этого распада еще не завершился и, возможно, именно сейчас входит в свою критическую фазу, допускающую как дальнейшую политическую фрагментацию постсоветского пространства, так и его пересборку в различных конфигурациях.

События, развернувшиеся 24 февраля 2022 года, еще острее ставят вопрос об имперской природе СССР, обнажая так и не проработанные разломы между национальным и территориальным; бывшей союзной метрополией и бывшими союзными республиками; историческим прошлым, национально ориентированные нарративы которого повсеместно пишутся с позиции независимых государств, возникших на месте бывших союзных республик, и актуальными политическими границами, легитимированными международным правом. Вопрос о том, являются ли эти болезненные постимперские рефлексии непосредственным эффектом советской национальной политики или их корни уходят в *longue durée* Российской империи, остается открытым для дальнейшего обсуждения. Одной из форм этой рефлексии и одновременно симптомом ее социальной востребованности и политической актуальности стал исследовательский бум, возникший вокруг описаний/изобретений/ конструирования/ реконструкции национальных/этнических идентичностей [Малахов 2007], утверждавших себя в статусе национальных государств и национальных автономий или борющихся за признание и повышение своего административного статуса внутри образовавшихся на постсоветском пространстве государств. Не менее интенсивной стала и символическая политика соответствующих государств и региональных администраций, стремившихся не просто играть собственную роль на этом поле, но и задавать в нем свои правила игры, переопределяющие роли и позиции других агентов (науки и образования, массмедиа и учреждений культуры, государственных институций и организаций гражданского общества).

Повышенные ставки, инвестируемые в политику памяти (и в историческую политику в целом), в той или иной степени характерны для большинст-

6 Подробнее об этой формуле как структурообразующей для национальной политики большевиков см. в: [Kalinin 2022].

ва, — если не для всех, — постсоветских государств [Миллер, Ефременко 2020; Миллер, Липман 2012; Blacker et al. 2013]. Причины этой интенсивности связаны с различными историко-культурными и политическими траекториями, находящимися на пересечении глобальных тенденций и локальных ситуаций. В последнем случае подъем интереса к национальной исторической памяти мотивирован необходимостью формулирования новой коллективной идентичности, укореняющей в прошлом (вновь или впервые) обретенную государственность. Искомая идентичность должна была преодолевать разрывы национальных традиций, связанные с социалистическим прошлым, осмысляемым в терминах имперской колонизации как подавление местных, национальных и этнокультурных начал. С другой стороны, эта идентичность, призванная наделять содержанием новые формы независимых государств, должна была работать с опытом этого подавления, определяемым как травматический, — а в идеале и «проработывать» его (как в адорновском, так и в психоаналитическом смысле этого понятия). Таким образом, производство этих новых национальных/этнокультурных/локальных идентичностей, развернувшееся в постимперском горизонте и обращавшееся к базовой постколониальной рамке как к модели для сборки, было вынуждено работать на двух диалектически связанных друг с другом уровнях: утверждением позитивных ценностей, ассоциируемых с исконной национальной традицией, и утверждением негативного исторического бэкграунда (не столь давнего советского социалистического прошлого), подвергаемого различным сценариям отрицания, вытеснения, забвения.

В подавляющей части государств социалистического блока (разве что за исключением Сербии), а также в части бывших республик СССР (странах Балтии и в Украине, где иковыми точками этого процесса стали 2004, 2014 и 2022 годы) декоμμунизация осуществлялась/осуществляется под знаком декоμμонизации, преодоления травматического прошлого, а в случае Украины как непосредственная антиколониальная реакция на разворачивающиеся в настоящем времени события, ставящие под вопрос суверенитет государства. Рамочная мемориальная конструкция, задействованная в этом случае, создавала сцену и ролевую схему, внутри которой действовали жертва и агрессор, что позволяло рационализировать социалистическое/советское прошлое как время действия враждебных сил, экстерниоризировать травму, опознав ее как нанесение ущерба внешним агрессором. Такого рода перенос, — фантазматический и компенсаторный по своей природе, позволяющий через механизмы автовиктимизации снять необходимость более глубокой и болезненной переработки собственного прошлого, — в данный момент исторически онтологизируется, обретая чудовищную реальность на юго-востоке Украины. Политика России в отношении Украины ретроспективно оправдывает абсолютную адекватность виктимной сценографии постсоциалистической мемориальной культуры, надолго заблокировав возможность рефлексии над ее внутренней политической прагматикой и однозначно распределив соответствующие роли. Тем самым советское *намертво* (в буквальном смысле слова) связывается с колониальным; действия Российской Федерации, выступающей наследницей СССР, закрепляют существующие представления об имперской природе Советского государства, которую пытается возродить Россия. Отрицание общего социалистического/советского прошлого, в негативной логике которого декоμμунизация разворачивается как избавление от чужеродного колониального наследия,

связанного с русским геополитическим доминированием, приводит не к преодолению этого наследия, а к его превращенному воспроизводству в настоящем (общее социалистическое прошлое вытесняется за пределы культурной памяти, становясь патологическим ядром столкновения, разворачивающегося между государствами, определяемыми как постимперия и постколония⁷). Советские символы получают национальную окраску⁸, социалистическое становится синонимом имперского, бывший колонизатор становится воплощением актуального политического вызова, который задним числом подтверждает восприятие недавнего прошлого как неудавшейся попытки колонизации. Зеркальное поведение противоположной (российской) стороны объективирует и верифицирует цепочку совершаемых оппонентом сдвигов и деформаций. «Русификация» советских символов (и их демонтаж в качестве таковых) запускает их вторичную валоризацию как элементов национального наследия, поражение коммунистического проекта в холодной войне начинает переживаться в духе постимперского ресентимента, символическая политика постсоветских соседей начинает оцениваться как угроза собственной национальной безопасности. Общее прошлое не только в плане его исторической специфики, но и в силу специфики его политической переработки, становится внутренним горизонтом разворачивающегося в настоящем конфликта, враждующие стороны которого при всей бросающейся в глаза асимметрии насилия демонстрируют миметически сходные языковые грамматики, элементами которых являются национализм и глорификация прошлого; использование образа внешнего врага в качестве фигуры, консолидирующей внутреннее единство; вынесение вины и ответственности за пределы собственного политического сообщества. Сама метафора «войн памяти», столь распространенная в академическом и публичном дискурсе двух последних десятилетий, отражала именно этот смертельный миметизм, являясь тревожным, но плохо диагностированным симптомом, несущем в себе опасность возможной буквализации, — свидетелями которой мы все и являемся в данный момент.

Изначальные мотивы мемориального подъема в России были, как и на всем постсоветском пространстве, связаны с нуждой в строительстве новой политической и социокультурной идентичности. Однако если постсоциалистический и постколониальный векторы в странах Восточной Европы и в большинстве бывших республик СССР, как правило, совпадали, работая на создание национально ориентированных этнокультурных идентичностей, то в случае с Российской Федерацией они оказались фактически противоположно направленными. Причины этого очевидны: последовательное воспроизведение постколониальной логики угрожало суверенной целостности нового Российского государства, которое после распада СССР продолжало оставаться многонациональной политической конструкцией, в значительной степени организованной по этнотерриториальному принципу. Пример Чечни, Северного Кавказа в целом, Татарстана, Калмыкии, Башкортостана и других национальных республик, входящих в состав Российской Федерации, на протяжении 1990-х го-

7 И то, что одно из этих государств подчеркивает былую общность, лишь усиливает ее отрицание со стороны другого.

8 В этом смысле подхватывая и перехватывая процессы, начавшиеся еще в советский период и инициированные самой союзной метрополией, начавшей наделять универсальное (советское, социалистическое) национальными чертами «старшего брата».

дов не раз демонстрировал федеральному административному центру все опасности национального строительства, развивающегося в постколониальном ключе и актуализирующего восприятие новой суверенной федерации как квази- или постимперии, которая должна повторить недавнюю судьбу своей предшественницы. Отсутствие какой-либо скрепляющей идеологической программы или универсальной идеи — кроме идеи общего рынка — делало постсоветскую российскую федеративную конструкцию еще более шаткой.

Таким образом, при внешнем совпадении исходных постколониальных и постсоциалистических координат динамика, структура и политическая направленность движения исторической памяти в России во всех ее дискурсивных регистрах (от профессионально академического до публичного) и различных этнокультурных версиях, а также усиление регулирующего государственного контроля за этим подъемом, принципиальным образом отличались от описанной выше рамки, характерной для других постсоветских государств. Постколониальная ситуация, — через которую гражданское общество и местные элиты во многих национальных регионах Российской Федерации на рубеже 1980—1990-х годов стали осознать и описывать собственное положение на карте, — неизбежно стимулировала коллективную работу памяти (необходимую для воскрешения/изобретения древних национальных традиций, способных символически обосновать претензии на суверенитет, автономию, признание). В свою очередь, с точки зрения федерального центра/метрополии, этот постколониальный мемориальный подъем опознавался как угроза территориальной целостности. То, что в Восточной Европе и в тех бывших республиках СССР, — в которых строительство национальных государств не было осложнено наличием значительных этнических меньшинств и групп населения с различными культурными ориентациями (или там, где наличие таковых удавалось игнорировать и маргинализировать), — работало как позитивный стимул к формированию новой национальной идентичности, наделяя ее успешным стать респектабельным языком описания, понятным целеполаганием, авторитетными историческими нарративами антиколониальной борьбы и т.д., в Российской Федерации представляло собой вызов, связанный с наложением друг на друга постколониальной и постимперской рамок (см.: [Mogozov 2015]), центробежных тенденций, идущих из регионов, и центростремительных усилий, идущих из метрополии.

Именно в этой перспективе и рассматривались процессы формирования локальных этнокультурных идентичностей, возникавших на руинах прежнего политико-административного единства. Вот как описывал их течение Валерий Тишков, директор Института этнологии и антропологии Российской академии наук (1989—2015), который в 1992 году занимал пост министра по делам национальности, а затем являлся одним из главных правительственных экспертов и идейных разработчиков российской национальной политики: «...этноцентристский дискурс начинается с научных текстов, затем он подхватывается журналистами, а уж потом отливается в пули и в боевой дух» [Тишков 2001: 64—65]. Таким образом, характерные для постколониальной ситуации культурные процессы, связанные с выработкой новых языков самоописания, пересмотром прежнего гегемонного исторического нарратива, интенсификацией локальной коллективной памяти, согласно этой небеспочвенной логике, не просто были чреваты культурным сепаратизмом, но потенциально угрожали территориальному единству государства. В итоге воспринимаемая как вызов,

постколониальная перспектива формирования национальных/этнических идентичностей оказалась секьюритизирована и отождествлена с террористической угрозой. Реакцией на постколониальный вызов стало обоснование возврата к единству, утверждение последнего как главной ценности, обеспечивающей жизнеспособность государства. Элементы этой реакции можно описать через устойчивую дискурсивную цепочку: постколониальная ситуация распада империи — интенсификация этноцентристского дискурса — террористическая угроза — перспектива распада страны, опознающей себя как наследницу прежней империи, — и, наконец, ответ на эту чрезвычайную постколониальную ситуацию, диктующий единство (административное, политическое, национальное) как единственное средство, способное противостоять терроризму (региональному и мировому) и утвердить суверенность нового государства.

В этом контексте антиколониальная энергия, вырвавшаяся на поверхность после распада СССР (а отчасти и сыгравшая свою роль в этом распаде⁹), должна была быть каким-то образом утилизирована новым Российским государством, не готовым идти на дальнейшую политическую фрагментацию. Лобовое военное столкновение во время чеченских войн продемонстрировало свою неэффективность, привело к огромному количеству жертв, лишь со второго раза позволив достичь хоть какого-то результата и в конце концов заставив прибегнуть к другим способам обретения политической лояльности помимо чистого насилия. Одной из наиболее действенных форм такого «связывания» антиколониальной энергии национальных территорий и в чем-то схожей с ней энергии локальной памяти российских регионов, стала ее канализация в специфических стратегиях государственной исторической (и шире — культурной) политики, ставшей набирать обороты начиная с 2005 года. Ее основным приемом было не прямое, контрарное отрицание локальной, этнокультурно ориентированной памяти и идентичности, а достаточно тонкая и продуманная работа с теми языками, которыми они оперируют. Постколониальная терминология начала становиться проводником традиционализма, присущий ей эмансипаторный пафос — носителем консервативных ценностей¹⁰, конструктивистские аналитические парадигмы — инструментом идеологических и политтехнологических манипуляций, чуткость к пересекающимся между собой различиям, позициям, дистанциям превратилась в умение складывать пасьянс, редуцирующий их к простым бинарным оппозициям, множеству жертв было предложено узнать себя в образе коллективного победителя¹¹. Апофеозом

9 Об этом см.: [Zisserman-Brodsky 2003].

10 Потенциал такого рода превращений можно обнаружить и в самой постколониальной теории, отводящей столь значимое место сохранению и развитию «уникальной духовной культуры» колонизированных народов [Чаттерджи 2002: 287]. Вопрос состоял исключительно в том, как деформировать и присвоить этот потенциал «духовной культуры» в собственных целях, сделать его основой государственных скреп.

11 Возникающая связь между историей, памятью и национальной идентичностью в случае российского исторического нарратива отличается от соответствующих нарративов большинства соседних постсоветских государств, поскольку строится на пафосе победителя, а не жертвы. Обращение к символическим ресурсам памяти о Великой Отечественной войне в этой связи общеизвестно. Характерную конструкцию этого аргумента, детерминирующего победу через обращение к идее единства, можно найти у истоков новой российской исторической политики: «Победа была достигнута не только силой оружия, но и силой духа всех народов, объединенных в то время в Союзном государстве» [Путин 2005].

этих дискурсивных политических инъекций, приводящих к тотальной мутации исходного образца, является попытка предъявить геополитические амбиции России как проявление глобального антиколониального движения, а саму Россию как его лидера и аванпост (см.: [Путин 2022]), — попытка с давней советской генеалогией, но лишенная каких-либо идеологических оснований, поскольку, в отличие от прежних апелляций к классовому интернационализму (независимо от степени их геополитического прагматизма), обращение к цивилизационным паттернам и идее Русского мира явно не годится для того, чтобы претендовать на лидерство в глобальном антиколониальном движении (у этих претензий нет никакой позитивной повестки, есть лишь общее негативное основание — антиамериканизм).

Перед официальным российским историческим нарративом, реагирующим на необходимость создания национальной идеи, объединяющей многонациональное государство, стояла довольно сложная задача — построить такую *национальную* версию российской истории, которая не отменяла бы, а утверждала позитивную ценность ее *имперского* прошлого. Причем это имперское прошлое должно было конвертироваться в многонациональное единство современной Российской Федерации. В этом смысле предпринимаемая на протяжении последних двух десятилетий символическая легитимация советского прошлого связана не с содержательной политической симпатией к советскому режиму или социализму как таковым, а с тем, что это прошлое может быть описано как пример успешного сосуществования партикулярного (национального) и универсального (коммунистической идеологии) [Калинин 2010]. Коренное отличие, правда, состоит в том, что советский интернационализм был основан на направленном в будущее коммунистическом проекте, в то время как нынешнее обоснование единства строится на исторических аргументах, адресованных прошлому, поскольку главной опорой официальной версии российского патриотизма являются специфические историческая политика и политика памяти. Этот тип патриотизма, фундамент, несущие конструкции и фасад которого сделаны из инструментализированной и переработанной памяти о прошлом, можно определить как «мнемонический патриотизм», — патриотизм, опирающийся не столько на чувство гордости за настоящее Российского государства или на какой-либо проект будущего, а на определенный образ прошлого, который необходимо заучивать в процессе социализации и воспроизводить в ходе карьерного продвижения (владение этим коммеморативным языком и способность артикулировать сертифицированный государством исторический нарратив является одним из важнейших критериев демонстрации политической лояльности).

Формирование содержательных границ российского политического общества на протяжении последних двадцати лет, — несмотря на внутренние отличия между различными периодами, — происходило внутри постоянно действующих силовых полей. С одной стороны, исчезновение СССР переживалось большей частью постсоветского общества как утрата адекватного ценностного горизонта, ответственного за производство национальной и политической идентичности. С другой стороны, вызванная турбулентностью распада дискурсивная нехватка (или, что структурно то же самое, избыток дискурсивного репертуара для самоидентификации, затрудняющий социально значимый выбор) поставила общество и политическую элиту перед необходимостью поиска символических ресурсов, необходимых для замещения утраченного.

Начало с чистого листа было бы возможно только при наличии какого-то мощного универсального проекта, на роль которого рыночный неолиберальный проект никак не годился, предполагая постепенный отказ по крайней мере от части национального суверенитета ради идеи глобального и саморегулирующегося рынка, — в то время как задача состояла в том, чтобы этот национальный суверенитет построить. Поэтому идея преемственности, наследования исторической государственности, в которую постепенно оказалось вовлечено и до- и послереволюционное прошлое России, оказалась по сути единственным выходом из сложившейся ситуации. Содержательным эффектом этой идеи преемственности (исторического единства), проецируемой на единство административное, территориальное и политическое, должно было стать снятие угрозы, содержащейся в антиколониальной энергии и постколониальной оптике: результатом подъема этнокультурных, локальных коммеморативных практик должен был стать не рост национализма, а *утверждение многонационального, но единого (имперского) прошлого и настоящего*. (Вполне возможно, что в данный момент этим усилиям российской исторической и культурной политики положен конец: диалектика нации и империи, которую удавалось сдерживать в последние десятилетия, вышла из-под контроля, и качнувшийся к полюсу империи маятник в скором времени отскочит к полюсу национализма.)

Акцент на суверенной субъектности, понимаемой не просто как административная целостность, но и как политическое единство нации, в случае России автоматически предполагает вопрос о ее поликультурной, полиэтнической, поликонфессиональной имперской структуре. В связи с этим возникает и необходимость примирения суверенного политического единства и культурного разнообразия. Концептуальным приемом такого примирения стало изобретение такой политической конструкции, как «историческая Россия», — Россия в ее многовековых границах, внутри которых многовековая же история «совместного проживания» автоматически лишала актуальности вопрос об имперской специфике этой совместности. Главным аргументом является сам факт наследования, верность памяти о прошлом: «Мы будем укреплять наше “историческое государство”, доставшееся нам от предков» [Путин 2012].

Смысл этой чувствительной к постколониальным импульсам работы состоял в том, что единство новой российской национальной идентичности обосновывалось не через устранение культурных различий, а через подчеркивание общего исторического опыта многонационального государства (Российской империи, СССР, Российской Федерации), через их включение в этот опыт как его непротиворечивых элементов. В свою очередь, сам этот опыт описывался как «процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне» [Там же]. Такая историческая конструкция создавала эффективный маршрут для канализации энергии потенциально субверсивной постколониальной идентификации: коллективная память о прошлом, опознаваемая как возвращение к истокам локальных, национальных или этноцентричных, традиций, оборачивалось возвращением в «общий дом» многонациональной Российской империи и ее исторических деривативов. Таким образом, колониальное наследие оказывается позитивно вписано в коллективный проект многонациональной Империи памяти, субъектами которой объявляются все народы, входящие в российскую «полиэтническую цивилизацию, скрепленную русским

культурным ядром» [Там же]. Русской культуре в этом проекте отводилась роль универсального символического медиатора, не отменяющего, но в гегелевском смысле снимающего этнокультурные различия и позволяющего переводить язык имперской геополитики на язык политики культурной (см.: [Калинин 2015]).

Таким образом, общее прошлое и актуализация памяти об этом общем прошлом становились тем синтетическим аргументом, который снимал напряжение между декларируемым единством и признаваемым культурным, этническим, конфессиональным многообразием. Более того, само это многообразие манифестировалось этим патриотическим дискурсом идентичности как основа устойчивости декларируемого единства. Официальный дискурс не столько блокировал постколониальные тенденции к росту локальных традиций памяти, становлению этноцентристских дискурсов или переписыванию локальных исторических нарративов. Он лишь перехватывал рост этой культуры памяти в своих собственных интересах, создавая парадоксальную конструкцию постколониального нарратива империи, в котором новые постколониальные символы или места памяти пронизывались смыслами общеимперского единства¹².

Эпистемологические контрасты: «колонизирующий» и «колонизированный» исследователь периферий

Антиколониальный аргумент современной российской политики, наследуя идеологическим и риторическим образцам времен холодной войны и одновременно приспособлявая их к ситуации постимперского постутопизма, послужил своеобразным фоном для амбивалентных эмансипаторных повесток в гуманитарных знаниях последних двух-трех десятилетий. Восприняв влиятельные культурные повороты глобального гуманитарного сообщества, гуманитарные науки постсоветского пространства все еще — и теперь с новой силой и непримиримостью — подпитываются аффектами биполярных противопоставлений и конфликтов.

В последние два-три десятилетия можно было наблюдать невиданный бум проектов и публикаций, исследующих культуру этнических меньшинств бывших и настоящих империй, в том числе и Советского Союза. Исследовательская оптика, привнесенная в гуманитарные науки социальным конструктивизмом и деконструкцией, постколониальной теорией и пространственным поворотом, должна была позволить избежать насилия над объектом — искушения лишить его собственного голоса, — иначе говоря, изменить саму перспективу аналитика, отныне заинтересованного в специфической субъективности и характерной агентности этнических сообществ в ситуации культурных и политических асимметрий. В эту интеллектуальную конъюнктуру, сложившуюся в западно-европейском и североамериканском академических кругах, встроена определенная идеология и этика. Их цель состоит в развитии особой чувствительности

12 Описание и интерпретацию конкретных примеров таких кентаврических конструкций, сумевших нейтрализовать различия этнотрадиционного и социалистического, локального и общегосударственного, см.: [Калинин 2021: 364–371].

по отношению к фигуре *Другого*, которая уже рассматривается не исключительно как жертва гегемонных политико-эпистемологических режимов, но как субъект, включенный в альтернативные по отношению к западным (упрощенно говоря — либеральным) типам социальных связей, способный производить пусть и ограниченный культурный выбор и создавать микшированные, бриколажные альтернативы в пределах определенного набора возможностей (ср.: [Lehmann 2015]). Более того, сама неоднородность или гибридность «периферийных», пограничных или малых культур, которые обуславливают пестроту империй, отвечала стремлению преодолеть и оспорить догму политических дихотомий и чистых разрезов, связывавшихся с оптикой, с одной стороны, структурализма — с другой, в советологии, с логикой холодной войны. Народы, проживавшие в национальных республиках и национальных автономиях СССР, стали благодарным материалом для изучения нелинейных процессов этнокультурной идентификации и асимметричных связей между центром и перифериями. При этом описания культурной идентичности неславянских («неевропейских») народов, повседневные практики и культурные традиции которых продолжали активно определяться религиозными картинами мира (от ислама до иудаизма, от шаманизма до тэнгризма), позволяли наиболее критически пересмотреть бинарные пары: архаика/модерность, свое/чужое, универсальное/партикулярное.

Представители социогуманитарных наук, работающие в регионах, — самое позднее начиная с момента распада большого нарратива советской модернизации во второй половине 1980-х — стали возрождать и разрабатывать эпистемологию (своего) малого, смешанного и миноритарного, но при этом редко обращались к постструктуралистскому или конструктивистскому инструментарию, позволяющим избежать простой перестановки акцентов. Изнутри разрушенных локальных историй и фактически отнятой в советское время поликультурной идентичности стала развиваться эзотерика локального духовного знания и/или страдальческого мессианизма (см., например: [Oushakine 2009])¹³.

Проследим эти тенденции на примере разнонаправленных геополитических эпистемологий в работах, посвященных коренным народам Советского Севера. Малочисленность, отдаленность от культурных центров и еще хорошо просматриваемая связь с традициями предков соединялась у эвенков, нанайцев, хантов, манси, ненцев, чукчей и других малых северных этносов с фактами истребления, насильственной ассимиляции и с различными повестками «цивилизаторской миссии», от политического просвещения до создания в 1930-е годы письменной культуры. После распада СССР коренная Сибирь стала одним из центров амбивалентных процессов реэтнизации — возрождения или переизобретения местных традиций. С одной стороны, возвращение к корням было неизбежным и продуктивным процессом этнокультурной рефлексии: оно позволило увидеть результаты советизации и поставить вопрос о собственном месте в глобальном ландшафте различных этнических меньшинств, пересобиравшемся после мнимых завоеваний модерности. Сибирские народы стали включаться в группу колонизированных, а ныне постколониальных народов глобального Севера. С другой — движение «обратно к корням» стало контекстом для автовиктимизации, (воз)рождения нарративов национализма и мифов

13 Здесь и в дальнейшем мы, разумеется, описываем только тенденции, которые не охватывают всего разнообразия исследовательских подходов в этих регионах.

о собственной избранности. Эти процессы разворачивались не только в литературе, искусстве и политике, но и в гуманитарных исследованиях.

Пафос дифференцированного и проблематизирующего собственные методологические основания исследования затронул филологическое знание в меньшей степени, чем, скажем, этнологию, которая зачастую обращалась к методам интерпретативной антропологии и «насыщенного описания» (thick description, см.: [Geertz 1973]). В литературоведении до сих пор наиболее сильно заметен разрыв между «внешней» и «внутренней» исследовательскими перспективами, которые оперируют разными аналитическими аппаратами, типами научного письма и аксиологическими системами. Труды исследователей, принадлежащих к западной академической системе, или ориентирующиеся на них работы российских ученых тяготеют к системному взгляду на литературный продукт советизации — «индигенный» соцреализм. Здесь в фокусе внимания находятся разные фазы и степени влияния центра на периферию (от рассказов о раскулачивании до оттепельных ламентаций деревенской прозы), советская культурная политика и взаимодействие между локальными традициями и советским национальным проектом, свернувшим на дорогу русификации как приобщения к универсальной социалистической культуре. Часто цитируемая монография Юрия Слѣзкина [Слѣзкин 2008] — наиболее яркий и, пожалуй, крайний пример такого подхода. Включая литературу Крайнего Севера в систему этнографического и исторического знания, выработываемого в разные периоды внутри метрополий, Слѣзкин разоблачает — не без остроумия и иронии — социальные последствия и культурные эффекты усилий организаторов и участников «большого путешествия» из центра на периферию и обратно, в результате которого агентность северных народов в советское время свелась почти исключительно к следованию национальной политике Москвы и копированию русских национальных традиций: «Большинство признаний любви к народу были написаны на русском языке, и почти все они предназначались для русского читателя. Сама по себе писательская деятельность не была традиционным занятием и должна была основываться на образах, сюжетах и тропах, почерпнутых из русской литературы» [Там же: 412].

При всей блестящей документированности и критическом пафосе своих выводов Слѣзкин невольно воспроизводит точку зрения «завоевателей» и модернизаторов. Прямо противоположная перспектива представлена в работах русскоязычных литературоведов, проживающих и работающих в северных регионах, либо культурно-политически идентифицирующихся с ними. В исследованиях, следующих этой «внутренней» оптике, автор, как правило, отождествляет себя с позицией угнетенных, аналитически и одновременно идеологически солидаризируясь с предметом изучения, — локальными культурами северных народов: коренной писатель предстает здесь рупором и защитником своей вымирающей культуры, судьей, выносящим безжалостный вердикт ее гонителям, в то время как сама эта культура описывается как жертва государственных репрессий и колониальной политики (см., например: [Комаров 2019; Лагунова 2003; Огрызко 2006]). Сосредоточенность на трагической судьбе своего народа нередко сочетается здесь с наделением писателя статусом избранного сородичами и соплеменниками «просвещенного шамана» (в кавычках или без), одежды которого он и сам время от времени на себя надевает. Так, в статье одного из наиболее известных региональных литературоведов Ольги Лагуновой (Тюмень) критический обзор разных подходов к северным литера-

турам (в том числе и нарратива обреченности), поначалу обещающий содержательный концептуальный анализ, заканчивается следующим выводом:

При личной встрече с нами (сентябрь 2006 г., Тюмень) Ю.К. Вэлла <...> заговорил о спине, по которой читатель, народ, стоящий за ним (мастером — посвященным), может и должен уловить, понять предмет и характер речи говорящего. Слово поэта обращено к высшим силам, обращено от имени всех, поэтому и лицо не видно читателю, народу, а видна только спина, но это спина человека ответственного, публично говорящего, говорящего о сущностном, главном, бытийном. <...> Так возникает феномен «народного слова». <...> Творчество художниками мыслится как процесс и акт собственной посвященности в тайну силы и бессмертия народа, типологически сходный с культурой шаманства, но имеющий собственную традицию, инструментарий и технику [Лагунова 2013: 120—121].

Региональные работы часто содержат ценный фактический материал и тонкий анализ поэтики двуязычных северных авторов. Чувствительность к слову, тропам, этнописью и системе внутренних литературных переводов — преимущество близкого взгляда — соседствует с недостатком безучастного и более широкого взгляда на материал. Главное же то, что здесь тоже происходит *идентификация* с материалом.

Между описанными выше полюсами немало переходов и нюансов, но примеров отрефлексированного сближения или сопоставления «внутренней» и «внешней» исследовательских оптик весьма немного, вероятно потому что литература и искусство как «вторичная моделирующая система» (Ю. Лотман) в последние десятилетия не находились в фокусе теоретических дебатов о позиции исследователя, в отличие от социологии, антропологии или (авто)этнографии, которые в этот период претерпевали значительные сдвиги, быстрее и эффективнее сумев преодолеть разломы прежде противостоящих друг другу геополитических (семио)сфер. Кроме того, литература как более кодифицированный тип высказывания не в той же степени открывается этике живых противоречий, как социум, жизненный мир, повседневность.

Региональная исследовательская практика, по определению географически наиболее близкая своему объекту, чаще всего остается на периферии внимания со стороны международного исследовательского сообщества; ее авторы публикуются, как правило, в локальных или исключительно русскоязычных научных изданиях. Они продолжают подпитывать традиционалистский консервативный (уходящий корнями в позднесоветский альянс социалистического универсализма и русского национализма) дискурс «духовных поисков» и нарратив моральной миссии литературы и литературоведения, которые не раз анализировались и, в свою очередь, деконструировались в западной культурологии. Так воспроизводится ситуация эпистемологического колониализма¹⁴, ответственного за заранее неравный статус производимого знания, иерархическое распределение символического капитала, академического престижа и т.д. Продолжая оставаться на теоретических и методологических окраинах научной «империи», региональные гуманитарии, оперирующие *герменевтикой сочувствия*, в каком-то смысле повторяют провинциальную судьбу своих народов, попадая в то же маргинальное положение, в котором на-

14 Мы используем этот термин без оттенка инвективы в адрес конкретного «колониатора».

ходились принадлежащие к «нацменьшинствам» писатели, принятые в «многонациональную семью» советской литературы.

Озабоченность духовным воспитанием читателя, призывы к экологической ответственности, а порой и позиция этического лидерства, характерные для писателей, принадлежащих к «малым» литературам Севера¹⁵, объединяет их с их исследователями. Например, на русскоязычных веб-сайтах и в региональных научных статьях, посвященных писателю Василию Ледкову, о нем часто повествуется как об учителе и отце ненецкого народа, беззаветно любившем свой край и заботившемся о судьбах его жителей (см. об этом: [Смола 2020]). Такого рода тексты об авторах родного края, все еще циркулирующие в цифровой среде глобальных информационных сетей в 2000—2010-е годы, сами по себе становятся перформативами гибридной постколониальной поэтики, совмещающей нормативную стилистику соцреализма постфактум с атрибутами родового рассказа о большой семье (так, например, писателя часто называют по имени и отчеству, опуская более формальное обращение по фамилии) и элементами эпического славословия. «До последних дней своей жизни Ледков продолжал делать тяжелую и далеко не престижную работу: отстаивал место поэзии в современном прагматическом мире»; «Своими тревогами за судьбу родного края он делится в книге “Белая держава”»; «Заботясь о духовном развитии своего народа, В. Ледков перевел на ненецкий язык произведения многих русских писателей» [«Я всем сердцем горжусь...» б.г.]. В научных сборниках «Хантыйская литература» (2002) и «Ненецкая литература» (2003) позиция многих северных исследователей «цитирует» общинность мышления малых культур, в которых автор нередко лично знаком и полностью солидарен с творчеством и общественной деятельностью писателей, которым эти работы посвящены.

Такова тональность многих отечественных публикаций о северных литературах начиная с 1990-х годов. Не приходится сомневаться, что пример Севера показателен и для многих других регионов бывшего СССР.

Исследовательский (арт)активизм: из Сибири в Украину

Этическая повестка значительной части постсоветского гуманитарного знания, наследующая отечественным, как дореволюционным, так и советским, а в некоторых регионах и местным поучительно-фольклорным традициям, в 2000—2020-е годы вливается в глобальные тренды своеобразного научного (этно- и национал-)активизма. Междисциплинарные коллективы художественно-исследовательских проектов — антропологи и искусствоведы, литературоведы и лингвисты, художники и экологи — обращаются к забытым или до сих пор не увидевшим свет архивным документам, маргинализованной коллективной памяти и локальным историям. С одной стороны, эти низовые инициативы, пик которых приходится на середину и вторую половину 2010-х годов, способствуют детерриторизации и буквальной деколонизации знания, пред-

15 Ср., например, о православном миссионерстве Анны Неркаги в: [Смола 2017]. О том, как в 1990-е годы северные писатели превращались в политиков и защитников окружающей среды, см. в: [Smola 2022].

ставляя собой процессы, слабо поддерживаемые государственным институциями или просто нежелательные с их точки зрения. Отчасти наследуя культуре советского андеграунда, подобного рода проекты создают альтернативные институции и параллельные публичные сферы на фоне самодержавной ностальгии и консервативных актов общенациональной коллективной некропамяти вроде «Бессмертного полка». Вливаясь в «архивный», или «темпоральный» повороты [Foster 2004; Godfrey 2007], независимая коммеморативная активность, широко представленная в современном искусстве Восточной Европы, пере(о)писывает историю региона с точки зрения периферий. С другой стороны, социально ангажированная работа на стыке научных разысканий и (этно)артивизма, нередко обнаруживает ту же, подпитанную герменевтикой сочувствия, симптоматику, возвращая ученого-аналитика к знакомым нарративам эпистемологического морализма.

Возвратимся к примеру коренной Сибири. Арктический институт искусств, основанный в 2014 году в Мурманске, изучает сибирские народы постсоветского пространства в контексте Глобального Севера, в том числе и его меньшинств, например Норвегии, Швеции, Финляндии и США:

Мы бросаем вызов пониманию того, что значит «столица», что такое — «современное», что такое — «профессиональное». Мы открываем заново уникальный культурный потенциал столицы Русского Севера, который может быть основой для появления новых идей и быть источником гордости и силы местных жителей. На Севере не было художественных академий, но именно здесь сохранились самые древние свидетельства русской народной культуры, восходящие ко времени новгородской и ростовско-суздальской колонизации Севера в XI—XIII вв., а также ненецкой, коми и других культур. <...> Идеи об эмансипации знания, экологичности в широком смысле, устойчивом производстве и равновесии между человеком и природой как возможных альтернативах советским индустриальным экспериментам века лежат в основе художественного производства форума [Шарова 2020].

«Эмансипация знания» соединяет здесь продуктивный интерес к локальному, вдохновляющий интернациональное арт-сообщество по меньшей мере в течение двух последних десятилетий, с отстаиванием агентности бывшей советской периферии, заручившейся поддержкой мировой активистской общественности. Обращение поздне- и постсоветских северных интеллектуальных сообществ к глобальным повесткам — родству судеб, находящихся под угрозой экологической и культурной катастрофы, колонизированных меньшинств мира — началось в 1980—1990-е годы. Вместе с этнографами, экологами, историками и литературоведами в этом движении активно участвовали и писатели. Уже упоминавшийся Василий Ледков (1933—2002) еще в 1985 году участвует в конференции писателей коренных народов мира под эгидой ЮНЕСКО, а в 1992-м — в конференции писателей уралоязычных народов в Финляндии и едет в Скандинавию, чтобы рассказать там о ненцах и их литературе. Хантыйский писатель Еремей Айпин (р. 1948) становится представителем Президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе и выступает на 49-й сессии ООН от Арктического региона планеты. Уже в период развитого экоактивизма, в 2015-м году, ненецкий поэт и писатель Юрий Вэлла (1948—2013) публикует на странице «Проза.ру» рассказ «Ворон. Записки ненца, побывавшего в Америке в гостях у индейцев» (2010), в котором повествует о своей поездке в США, посещении бывших поселений индейского племени валатова,

о проснувшемся вулкане в Исландии и о Макдональдсах американских метрополий, а также о том, как он давал интервью американским историкам и антропологам.

Механизмы культурной идентификации питают любой, в том числе и региональный, активизм, ставший движущей силой диалектики *глобально ориентированной резнизации и ренационализации* не только на Российском Севере, но в разной степени и во всех бывших советских республиках. Те местные гуманитарии, которые закончили западноевропейские или североамериканские университеты, эмигрировали на Запад или восприняли аналитические языки современных критических теорий, активно пользуются эпистемой как минимум двойной культурной экспертизы и умело отворяют двери своего (бывшего) дома с помощью постколониального, экологического или феминистского ключей. Тем не менее установившееся после распада СССР глобальное картографирование геокультурных интересов и связей совсем не обязательно противостоит радикальности этнонациональной гуманитарной повестки, которая черпает свою энергию не в последнюю очередь из ресурсов характерного для постсоветской России *ресентимента униженности, поражения, утраты*. Только если в случае с Россией в целом адресатом-виновником является США, «коллективный Запад», заговор международных элит, то в случае с рядом национальных регионов Российской Федерации в эту адресацию изначально включалась сама российская метрополия и ее колониальная политика (за последнее десятилетие этот антиколониальный импульс российских национальных регионов оказался в значительной степени купирован, вытеснен за пределы официально признаваемого идентификационного дискурса, канализирован в форме глобального антизападного антиколониального движения, на лидерство в котором претендует нынешняя Россия). В случае с частью государств, получивших независимость после распада СССР, резнизация и ренационализация протекают под ресентиментным напряжением, негативная энергия которого обращена как в сторону колониальной политики советской империи, так и в сторону выступающей в качестве ее наследницы Российской Федерации.

Радикализация и активистский характер как искусства, так и гуманитарного знания всегда особенно остро проявляются в ситуации острых идеологических конфликтов, не говоря уже о прямых политических столкновениях. Именно это произошло в Украине после 2014-го и — в многократно возросшем масштабе — в 2022 году. Военная операция на территории Украины резко обострила и войну эпистем — задействованного для интерпретации набора геокультурных толкований, коллективной памяти и идеологически ангажированных повесток (как правых, так и левых). Претензии на эпистемологическое превосходство, — особенно быстро набравшие обороты с весны 2014 года причем не только в постоянно растущем объеме медийной, образовательной, поп-культурной продукции, но и во множестве научных публикаций, транслирующих национал-патриотические взгляды и наводняющие книжный рынок и научную периодику, — столкнулись со встречным национал-патриотическим ответом. Так, с февраля 2022 года украинские коллеги, художники и интеллектуалы многократно обвиняли западных и оппозиционных российских ученых в империализме, пассивной поддержке политики России и «структурном» равнодушии; порой это даже оборачивалось доносами в ректораты западных университетов, травлей и риторикой ненависти в социальных сетях. Как российский, так и украинский национализмы укоренены не только в постсоветском настоящем,

но и в прошлом, начавшемся, разумеется, значительно раньше десоветизации 1990-х. Созревая в постсоветской интеллектуальной среде 1990—2010-х годов, новые национализмы, обогатившись инструментарием левой политической философии и западного активизма и оперируя понятиями, введенными в оборот (де)конструктивизмом и эмансипаторными культурными теориями (например, гегемония, эссенциализм, субальтерн, объективация и др.), во многом продолжают существовать в поле исторического ресентимента и радикального дуализма, свойственных отвергаемым им постимперским парадигмам.

Так, необычайно важная сейчас для Восточной Европы феминистская эпистемология стала в Украине особенно с началом войны (но уже и до нее) платформой для инвектив, сбрасывающих с корабля современности весь почтенный багаж западной научной мысли последнего полувека. Так, львовская феминистка Тамара Злобина пишет:

Я все больше ох***ю от того, насколько некоторые признанные интеллектуалы тупы, насколько они не способны видеть предпосылки собственных суждений. Раньше на западных программах у меня было впечатление, что часть из них несет ахинею... <...> Несмотря на все эти тонны академической макулатуры, которые писались последние 50 лет... про необходимость проанализировать, с какой именно позиции вы говорите, про то, что, возможно, определенные властные дисбалансы с вашей позиции невидимы, что нужно прислушиваться к дискриминируемым, бла-бла-бла, — авторы и авторки западного антимилитаризма провтыкали очевидное. Очевидное, б**ть. Что все они из империалистических стран, которые имеют многовековую колонизаторскую историю. И войны, про которые они теоретизируют, — это те войны, которые их государства ведут на территории других стран. Или те, которые происходили в других, нежели у них, контекстах, в которых они очень слабо разобрались [Злобина 2022].

В этом тексте «академия», прежде всего научная традиция эпистемологических сомнений по отношению к наблюдателю и критика универсализма авторитетных позиций и знания, прямым образом обвиняется в толерантности по отношению к насилию. Совершенно понятная с точки зрения жертв настоящих событий горечь по поводу призыва западных феминисток не давать Украине оружие (об этом, в сущности, и написан пост Злобиной) или совсем не простой вопрос о пассивной, «миротворческой» политике Запада благодаря логике короткого — в буквальном смысле обходящего сложности и изгибы — замыкания выводит в политический осадок очень разнородную и саму по себе вполне конфликтную традицию гуманитарного знания. Такие выпады, вольно или невольно привязывающие точку зрения говорящего к его географической и культурной принадлежности (здесь это некий сборный западный исследователь), печальным образом напоминают инвективы против западной «лже-науки» и «примиренчества» времен холодной войны.

В интервью, опубликованном в том же мае 2022 года, украинская феминистка и философ Ирина Жеребкина развивает значительно более тонкую аргументацию, в том числе по отношению к западному феминизму. Больше задаваясь вопросами, чем давая готовые ответы на вопрос о возможном сопротивлении, Жеребкина вслед за Зиллой Айзенштейн говорит о «ненавистях» во множественном числе, которые порождает и легализует война — они «обнаруживаются как метастазы повсюду, становятся мощнейшим ресурсом массовой политической мобилизации, в том числе расистской, националистической,

сексистской» [Жеребкина 2022]. Здесь деколониальная повестка связывается скорее с критикой политических дуализмов. Так, говоря о естественном в данный момент отношении значительной части украинского общества в адрес всего русского, Жеребкина замечает:

Украина только тогда сможет окончательно освободиться от колониальной зависимости и станет по-настоящему независимой и демократической, когда она перестанет делить жизни своих граждан на более и менее «правильные» и значимые по критерию языка и культурного бэкграунда [Там же].

Часто — хотя и на более тонком и сублимированном уровне — гуманитарная мысль повторяет, а порой и порождает логику войны — горячей или холодной. Глобальное использование левых эмансипаторных критических теорий и прочно вошедший в интеллектуальный быт самых разных культурных сообществ понятийный аппарат толерантности не защищают от методологических упрощений бинарных противопоставлений, возвращения так и не проработанного травматического опыта, политического манихейства. Позиция эпистемологического радикализма, как правило, оказывается слепой по отношению к собственной генеалогии и собственным дискурсивным зависимостям, становясь не только следствием, но и зеркалом идеологии своего врага.

Библиография / References

- [Жеребкина 2022] — *Жеребкина И.* Скорбя не о «своих», но о «чужих» // *syg.ma*. 2022. 30 мая (<https://syg.ma/@sygma/skorbia-nie-o-svoikh-no-o-chuzhikh> (дата обращения: 27.10.2022)).
- (*Zherebkina I.* Skorbya ne o “svoikh”, no o “chuzhikh” // *syg.ma*. 2022. May 30 (<https://syg.ma/@sygma/skorbia-nie-o-svoikh-no-o-chuzhikh> (accessed: 27.10.2022)).)
- [Злобина 2022] — *Злобина Т.* Проблема феминистской международной политики. Взгляд из Украины // РФО «ОНА». 2022. 9 мая (<https://ona.org.ru/post/683798572722012161/arm-ukraine-now> (дата обращения: 27.10.2022)).)
- (*Zlobina T.* Problema feministskoj mezhdunarodnoy politiki. Vzglyad iz Ukrainy // RFO “ONA”. 2022. May 9 (<https://ona.org.ru/post/683798572722012161/arm-ukraine-now> (accessed: 27.10.2022)).)
- [Калинин 2010] — *Калинин И.* Ностальгическая модернизация: советское прошлое как исторический горизонт // *Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре*. 2010. № 6 (74). С. 6—16.
- (*Kalinin I.* Nostal'gicheskaya modernizatsiya: sovetское proshloe kak istoricheskiy gorizont //
- Neprikosnovenny zapas: Debaty o politike i kul'ture*. 2010. № 6 (74). P. 6—16.)
- [Калинин 2015] — *Калинин И.* Праздник идентичности // *Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре*. 2015. № 3 (101). С. 250—261.
- (*Kalinin I.* Prazdnik identichnosti // *Neprikosnovenny zapas: Debaty o politike i kul'ture*. 2015. № 3 (101). P. 250—261.)
- [Калинин 2021] — *Калинин И.* Историческая политика // *Все в прошлом: теория и практика публичной истории* / Под ред. В. Дубины, А. Завадского. М.: Новое издательство, 2021. С. 355—375.
- (*Kalinin I.* Istoricheskaya politika // *Vse v proshlom: teoriya i praktika publichnoy istorii* / Ed. by V. Dubina, A. Zavadskiy. Moscow, 2021. P. 355—375.)
- [Комаров 2019] — *Комаров С.* Младописьменные литературы в составе литератур Тюменского края (опыт общей характеристики) // *Дергачевские чтения — 2018. Литература регионов в свете гео- и этнопоэтики: материалы XIII Всероссийской научной конференции* (г. Екатеринбург, 18—19 октября 2018 г.). Екатеринбург: УрО РАН, 2019. С. 301—307.

- (Komarov S. Mladopis'mennye literatury v sostave literatur Tyumenskogo kraja (opyt obshchey kharakteristiki) // Dergachevskie chteniya — 2018. Literatura regionov v svete geo- i etnopoetiki: materialy XIII Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii (Ekaterinburg, 18—19 oktyabrya 2018). Ekaterinburg, 2019. P. 301—307.)
- [Лагунова 2003] — Лагунова О. Анна Неркаги: «За себя восклицаю и за всех» // На моей земле. О поэтах и прозаиках Западной Сибири последней трети XX века / Отв. ред. С. Комаров, О. Лагунова. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 2003. С. 261—348.
- (Lagunova O. Anna Nerkagi: "Za sebya vosklitsayu i za vsekh" // Na moyey zemle: O poetakh i prozaikakh Zapadnoy Sibiri posledney treti XX veka / Ed. by S. Komarov, O. Lagunova. Ekaterinburg, 2003. P. 261—348.)
- [Лагунова 2013] — Лагунова О. Младописменные литературы России: научные версии русскоязычного творчества // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica. 2013. № 6. С. 114—122.
- (Lagunova O. Mladopis'mennye literatury Rossii: nauchnye versii russkoyazychnogo tvorchestva // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica. 2013. № 6. P. 114—122.)
- [Малахов 2007] — Малахов В. Проблема идентичности в постсоветском контексте // Малахов В. Понаехали тут... Очерки о национализме, расизме и культурном плюрализме. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 7—24.
- (Malakhov V. Problema identichnosti v posyovetskom kontekste // Malakhov V. Ponaekhali tut... Ocherki o natsionalizme, rasizme i kul'turnom pluralizme. Moscow, 2007. P. 7—24.)
- [Миллер, Липман 2012] — Историческая политика в XXI веке / Под ред. А. Миллера, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- (Istoricheskaya politika v XXI veke / Ed. by A. Miller, M. Lipman. Moscow, 2012.)
- [Миллер, Ефременко 2020] — Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы: акторы, институты, нарративы / Под ред. А. Миллера, Д. Ефременко. СПб.: Издательство ЕУСПБ, 2020.
- (Politika pam'yati v sovremennoy Rossii i stranakh Vostochnoy Evropy: aktory, instituty, narriativy / Ed. by A. Miller, D. Yefremenko. Saint Petersburg, 2020.)
- [Огрызко 2006] — Огрызко В. В сжимающемся пространстве: портрет на фоне безумной эпохи. М.: Литературная Россия, 2006.
- (Ogryzko V. V szhimayushemsya prostranstve: Portret na fone bezumnoy epokhi. Moscow, 2006.)
- [Путин 2005] — Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 25.04.2005 // <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36354> (дата обращения: 27.10.2022).
- (Poslanie Prezidenta Rossiyskoy Federatsii Federal'nomu sobraniyu Rossiyskoy Federatsii ot 25.04.2005 // <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36354> (accessed: 27.10.2022).)
- [Путин 2012] — Путин В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 января (https://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения: 27.10.2022)).
- (Putin V. Rossiya: natsional'nyy vopros // Nezavisimaya gazeta. 2012. January 23 (https://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (accessed: 27.10.2022)).)
- [Путин 2022] — Обращение Владимира Путина по случаю вхождения в состав РФ новых субъектов. 2022. 30 сентября // <https://tass.ru/politika/15921545> (дата обращения: 27.10.2022).
- (Obrashchenie Vladimira Putina po sluchayu vkhozhdeniya v sostav RF novykh sub'ektov. 2022. September 30 // <https://tass.ru/politika/15921545> (accessed: 27.10.2022).)
- [Слэзкин 2008] — Слэзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
- (Slezkin Yu. Arkticheskie zerkala: Rossiya i malye narody Severa. Moscow, 2008.)
- [Смола 2017] — Смола К. Постколониальные литературы Севера: автоэтнография и этнопоэтика // Новое литературное обозрение. 2017. № 144. С. 429—447.
- (Smola K. Postkolonial'nye literatury Severa: avtoetnografiya i etnopoetika // Novoe literaturnoe obozrenie. 2017. № 144. P. 429—447.)
- [Смола 2020] — Смола К. «Маленькая Америка»: (Пост)социалистический реализм коренного Севера // Новое литературное обозрение. 2020. № 166. С. 143—155.
- (Smola K. "Malen'kaya Amerika": (Post)sotsialisticheskiy realizm korennoy Severa // Novoe literaturnoe obozrenie. 2020. № 166. P. 143—155.)
- [Тишков 2001] — Тишков В.А. Слова и образы в постконфликтной реконструкции // Чечня: от конфликта к стабильности / Под ред. Дж.Дж. Гакаева, А.Д. Яндарова. М.: ИЭА, 2001. С. 49—72.
- (Tishkov V.A. Slova i obrazy v postkonfliktnoy rekonstruktsii // Chechnya: ot konflikta k stabil'nosti / Ed. by Dzh.Dzh. Gakayev, A.D. Yandarov. Moscow, 2001. P. 49—72.)

- [Ушакин 2021] — *Ушакин С.* Колониальный омлет и его последствия: о публичных историях постколоний социализма // Все в прошлом: теория и практика публичной истории / Под ред. В. Дубиной, А. Завадского. М.: Новое издательство, 2021. С. 395—428.
- [Oushakine S. Kolonial'nyy omlet i ego posledstviya: o publichnykh istoriyakh postkoloniy sotsializma // Vse v proshlom: teoriya i praktika publichnoy istorii / Ed. by V. Dubina, A. Zavadskiy. Moscow, 2021. P. 395—428.)
- [Чаттерджи 2002] — *Чаттерджи П.* Воображаемые сообщества: кто их воображает? // Нации и национализм / Пер. с англ. и нем. Л.Е. Переяславцевой и др. М.: Праксис, 2002.
- [Chatterjee P. Whose imagined community? // Mapping the nation. Moscow, 2002. — In Russ.]
- [Шарова 2020] — *Шарова Е.* Арктический форум искусств 2016. Телесное знание // ARCTIC ART FORUM 2016. Телесное знание. Череповец, Издательский дом “Череповець”, 2016. С. 7—9.
- [Sharova E. Arkticheskiy forum iskusstv 2016. Telesnoe znanie // ARCTIC ART FORUM 2016. Telesnoe znanie. Cherepovets, 2020. P. 7—9.)
- [«Я всем сердцем горжусь...» б.г.] — «Я всем сердцем горжусь, что в России родилась...» // ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова» (https://nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=885:ledkov&catid=29&Itemid=442 (дата обращения: 27.10.2022)).
- [“Ya vsem serdtsem gorzhus’, chto v Rossii rodilsya...” // GBUK NAO “Nenetskaya tsentral'naya biblioteka imeni A.I. Pichkova” (https://nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=885:ledkov&catid=29&Itemid=442 (accessed: 27.10.2022)).]
- [Adams 2008] — *Adams L.* Can We Apply a Postcolonial Theory to Central Asia? // Central Eurasia Studies Review. 2008. Vol. 7. № 1. P. 2—8.
- [Barkey, von Hagen 1997] — After Empire. Multiethnic Societies and Nation-Building / Ed. by K. Barkey, M. von Hagen. Boulder, Colorado: Westview, 1997.
- [Bassin, Kelly 2012] — Soviet and Post-Soviet Identities / Ed. by M. Bassin, C. Kelly. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- [Beissinger 1995] — *Beissinger M.* The Persisting Ambiguity of Empire // Post-Soviet Affairs. 1995. № 11. P. 149—151.
- [Blacker et al. 2013] — Memory and Theory in Eastern Europe / Ed. by U. Blacker, A. Etkind, J. Fedor. London: Palgrave-Macmillan, 2013.
- [Brubaker 1998] — *Brubaker R.* Myths and Misperceptions in the Study of Nationalism // The State of the Nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism / Ed. by J. Hall. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 272—305.
- [Chernetsky et al. 2006] — *Chernetsky V., Condee N., Ram H., Spivak G.* Are We Postcolonial? Post-Soviet Space // Publication of the Modern Languages Association. 2006. Vol. 121. № 3. P. 819—836.
- [Davisha, Parrot 1997] — The End of Empire? The Transformation of the USSR in Comparative Perspective / Ed. by K. Davisha, B. Parrot. Armonk, New York: Sharp, 1997.
- [Djagalov 2020] — *Djagalov R.* From Internationalism to Postcolonialism: Literature and Cinema between the Second and the Third Worlds. Montreal: McGill-Queen University Press, 2020.
- [Foster 2004] — *Foster H.* An Archival Impulse // October. 2004. № 110. P. 3—22.
- [Geertz 1973] — *Geertz C.* The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, 1973.
- [Godfrey 2007] — *Godfrey M.* Artist as Historian // October. 2007. № 120. P. 140—172.
- [Kalinin 2022] — *Kalinin I.* The Soviet Union of National Form and Socialist Content (Culture, Nation, Class) // Russian Studies in Philosophy. 2022. № 5 (forthcoming).
- [Lehmann 2015] — *Lehmann M.* When Everything Was Forever: An Introduction // Slavic Review. 2015. № 74 (1). P. 1—9.
- [Martin 2001a] — *Martin T.* The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939. Ithaca: Cornell University Press, 2001.
- [Martin 2001b] — *Martin T.* An Affirmative Action Empire: The Soviet Union as the Highest Form of Imperialism // A State Of Nations. Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin / Ed. by R.G. Suny, T. Martin. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 67—90.
- [Moore 2001] — *Moore D.* Chioni. Is the Post in Postcolonial the Post in Post-Soviet? Notes toward a Global Postcolonial Critique // Publication of the Modern Languages Association. 2001. Vol. 116. № 1. P. 111—128.
- [Morozov 2015] — *Morozov V.* Russia's Postcolonial Identity. A Subaltern Empire in a Eurocentric World. Paganre Macmillan, 2015.
- [Northrop 2000] — *Northrop D.* Languages of Loyalty: Gender, Politics, and Party Supervision in Uzbekistan, 1927—41 // The Russian Review. 2000. Vol. 59. Iss. 2. P. 179—200.
- [Oushakine 2009] — *Oushakine S.* The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia. Cornell UP, 2009.
- [Popescu 2020] — *Popescu M.* At Penpoint: African Literatures, Postcolonial Studies, and

- the Cold War. Durham, N.C.: Duke University Press, 2020.
- [Slezkine 2000] — *Slezkine Yu.* Imperialism as the Highest Stage of Socialism // *The Russian Review*. 2000. Vol. 59. Iss. 2. P. 227—234.
- [Smola, Uffelman 2016] — *Smola K., Uffelman D.* Postcolonial Slavic Literatures after Communism: Introduction // *Postcolonial Slavic Literatures after Communism* / Ed. by K. Smola, D. Uffelman. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2016. P. 9—25.
- [Smola 2022] — *Smola K.* (Re)shaping Literary Canon in the Soviet Indigenous North // *Slavic Review*. 2022. № 81 (4) (forthcoming).
- [Suny, Martin 2001] — *A State Of Nations. Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin* / Ed. by R.G. Suny, T. Martin. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- [Zisserman-Brodsky 2003] — *Zisserman-Brodsky D.* Constructing Ethnopolitics in the Soviet Union: Samizdat, Deprivaton, and the Rise of Ethnic Nationalism. New York: Palgrave MacMillan, 2003.